



# Варлам Шаламов

Четвертая Вологда

*ФТМ*



Варлам Шаламов  
**Четвертая Вологда**

«ФТМ»  
1968-1971

## **Шаламов В. Т.**

Четвертая Вологда / В. Т. Шаламов — «ФТМ», 1968-1971

Русского поэта и писателя, узника сталинских лагерей Варлама Тихоновича Шаламова критики называют «Достоевским XX века». Его литература – страшное свидетельство советской истории. Исповедальная проза Шаламова трагедийна по своей природе, поэзия проникнута библейскими мотивами.

© Шаламов В. Т., 1968-1971

© ФТМ, 1968-1971

# Содержание

I	5
II	7
III	14
Конец ознакомительного фрагмента.	15

# Варлам Тихонович Шаламов

## Четвертая Вологда

### I

Есть три Вологды: историческая, краевая и ссыльная. Моя Вологда – четвертая.

«Четвертую Вологду» я пишу в шестьдесят четыре года от роду... Я пытаюсь в этой книге соединить три времени: прошлое, настоящее и будущее – во имя четвертого времени – искусства. Чего в ней больше? Прошлого? Настоящего? Будущего? Кто ответит на это?

Прозаиком я себя считаю с десяти лет, а поэтом – с сорока. Проза – это мгновенная отдача, мгновенный ответ на внешние события, мгновенное освоение и переработка виденного и выдача какой-то формулы, ежедневная потребность в выдаче какой-то формулы, новой, не известной еще никому. Проза – это формула тела и в то же время – формула души.

Поэзия – это прежде всего судьба, итог длительного духовного сопротивления, итог и в то же время способ сопротивления – тот огонь, который высекается при встрече с самыми крепкими, самыми глубинными породами. Поэзия – это и опыт, личный, личнейший опыт, и найденный путь утверждения этого опыта – непреодолимая потребность высказать, фиксировать что-то важное, быть может, важное только для себя.

Границы поэзии и прозы, особенно в собственной душе, – очень приблизительны. Проза переходит в поэзию и обратно очень часто. Проза даже прикидывается поэзией, а поэзия – прозой.

Я начинал со стихов, с мычания ритмического, шаманского покачивания – но это была лишь ритмизированная шаманская проза, в лучшем случае верлибр «Отче наш».

Тогда мне было непонятно, что поэзия – это особый мир, что начавшаяся с песни поэзия доходит до высот Шекспира и Гете и что никакие арины родионовны не остановят ее развития. Путь этот – необратим.

Для письменной речи песня акына лишь подножье, почва, окультуренный сад.

Я пишу с детства. Стихи? Прозу? Затрудняюсь ответить на этот вопрос.

Проза тоже требует ритмизации и без ритма не существует. Но писание как особенность мгновенной отдачи, для которой я нашел мне принадлежащий, личный способ торможения, фиксации, – а торможение внешнего мира и есть процесс писания, – я отношу к десяти годам, к времени возникновения моей игры в «фантики», моих литературных пасьянсов, которые так тревожили мою семью. Вологда – не просто город Большого Севера, Севера с большой буквы, не просто архитектурная летопись церковной старины. Много столетий этот город – место ссылки или кандалный транзит для многих деятелей сопротивления – от Аввакума до Савинкова, от Сильвестра до Бердяева, от дочери фельдмаршала Шереметева до Марии Ульяновой, от Надеждина до Лаврова, от Германа Лопатина до

Луначарского. Нет в русском освободительном движении сколько-нибудь значительного деятеля, который не побывал бы в Вологде хотя бы на три месяца, не регистрировался бы в полицейском участке. И далее – либо увязал обеими ногами в жирную унавоженную кровью вологодскую почву, либо, обрывая эти корни, бежал. Вот этот классический круговорот русского освободительного движения – Петербург – тюрьма – Вологда – заграница, Петербург – тюрьма – Вологда – и создал за несколько веков особенный климат города, и нравственный, и культурный. Требования к личной жизни, к личному поведению были в Вологде выше, чем в любом другом русском городе.

В Вологде всегда подвизались профессиональные учителя жизни. Со сцены: Мамонт Дальский, Павел Орленев, Николай Россов. Антреприза городского театра держала курс

именно на этих проповедников, пророков, носителей добра, а не красоты – передовых, прогрессивных гастролеров, а не на моду, вроде Художественного театра. Художественный театр признавался Вологдой, но только в ряду подальше, чем пьесы Шиллера, Гюго, Островского и Гоголя, принесенные скитающимися звездами – гастрوليрующими пророками столичной и провинциальной сцены. То обстоятельство, что в «Лесе» Островского Несчастливцев путешествует из Керчи в Вологду – было самым документом. Ибо именно в Вологде такой гастролер мог встретить и понимание, и помощь, и поддержку. Вологда была передовым актерским городом, где жили высшие ценители, высшие критики, высшие русские авторитеты – общество вологодских ссыльных.

Ни Ярославль, ни Архангельск, ни Самара, ни Саратов, ни Сибирь – Восточная и Западная – не имели такого особенного, нравственного акцента.

Это относится не только к театру.

## II

Есть три Вологды.

Первая Вологда – это местные жители Сольвычегодска, Яренска, Усть-Сысольска, Великого Устюга, Тотьмы, говорящие на вологодском языке, одном из русских диалектов, где вместо «красивый» говорят «баской», а в слове «корова» не акают по-московски и не окают по-нижегородски, а оба «о» произносят как «у», что и составляет фонетическую особенность чисто вологодского произношения. Не всякий приезжий столичный житель освоится сразу с вологодскими фонетическими неожиданностями. Первая Вологда – это многочисленное крестьянство подгороднее: молочницы, огородники, привлекаемые запахом легкого заработка на городском базаре.

В этих близких и дальних северных деревнях спокон века есть свои грешники, свои праведники, свои карьеристы и злодеи – человеческий тип синантропа немногим отличается от современника, изучающего кибернетику и ритмы Гете. Фашизм, да и не только фашизм, показал полную несостоятельность прогнозов, зыбкость пророчеств, касающихся цивилизации, культуры, религии.

Но до революции именно в эту зыбкость-то и не верили, убаюкивая себя и своих близких скорым пришествием рая – все равно, земного или небесного.

Сюрприз крестьянства был только одним из многих сюрпризов революции.

Революция вошла в село решительной походкой, удовлетворяя прежде всего деревенскую страсть к стяжательству.

Стяжательство вологодских крестьян имело свои особенности. На вологодском рынке всегда продавалось молоко первосортное. Разрушен мир или нет – на жирности молока это не отражалось. Торговки никогда не доливали молоко водой, что крайне удивляло театрального гастролера Бориса Сергеевича Глаголина. Привыкший ко всему петербургский желудок знаменитого русского актера испытывал неуверенность в честной, христороливой Вологде.

Царское правительство вербовало из вологодских рекрутов самую надежную тюремную стражу, конвойные полки и часовых на тюремные башни.

Подобно тому как профессия дворника закреплена в Москве за татарами, подобно тому как калужане – землекопы, а ярославцы – торгоши, конвойная служба от века и века в руках вологжан. Свое место в царской империи вологжане заняли, охраняя тюремные замки и зашелкивая тюремные замки.

Выражение «вологодский конвой шутить не любит» вошло в историю революционного движения, укрепилось в тюремной традиции и после революции дошло до наших дней, вписав надлежащие сведения в охрану концлагерей двадцатых, тридцатых, сороковых годов.

Я был поражен, читая в «Былом» протоколы «дела Нечаева» – подготовку его уникального побега из Шлиссельбурга. Вся охрана Шлиссельбурга – а ее судили за подготовку побега Нечаева – состояла из вологжан[1].

Случай Нечаева заслуживает того, чтобы о нем вспомнить подробно.

Нечаев – и это уникальный, единственный случай в мировом революционном движении, – будучи безымянным вечником шлиссельбургской одиночки, лишенный имени и засунутый на самое дно карцера самого глухого в России, не только сам подготовил свой побег изнутри, но связался с Исполнительным комитетом «Народной воли», переписывался с этим комитетом, давал советы. Когда народовольцы хотели освободить Нечаева, Нечаев отказался от побега ради другого варианта – убийства царя. На царубийстве были сосредоточены все силы «Народной воли». Нечаеву самому дали решить этот вопрос, и он его решил в пользу центрального удара, что и привело к 1 марта 1881 года. Нечаев понимал, конечно, что такой выбор обрекает его самого на смерть, ибо неминуемо усилят охрану, живым не выпустят. Дей-

ствительно, после царубийства, после усиления бдительности была разоблачена и разгромлена попытка солдат подготовить нечаевский побег, и сам Нечаев умер безмянным через несколько лет естественной тюремной смертью. Заговор был открыт, солдаты осуждены военным судом – протоколы их допросов печатались в «Былом».

Каким же путем Нечаев приобрел такое влияние на своих часовых?

Можно допустить исключительный талант Нечаева Б конспирации, гипнотическую силу знатока человеческих душ и сердец.

И все же – с чего началась деятельность Нечаева в Шлиссельбургском каземате?

Шлиссельбург знал голодовки, протесты, самоожжения, самоповешения на простынях, на белье. Здесь обливали себя керосином и сжигались, умирая от ожогов, срывали погоны с тюремных генералов.

Нечаев поступил иначе. Он ударил кулаком в лицо шефа жандармов генерала Потапова. Ударив, разбил тому нос в кровь. И – не был расстрелян, избит или задушен.

Угрозы расправиться с Потаповым сопровождали этот поступок.

Случай, небывалый случай, подвергся бурному обсуждению в общежитии конвоиров.

Никто не мог дать сколько-нибудь разумного объяснения. Ждали смерти Нечаева – Нечаев продолжал жить.

– Это, наверное, брат или родственник царя, – вот единственное объяснение, которое нашел конвой.

– А если так, действительно так, – говорили конвоиры, – нам нужно держаться осторожно. Завтра он выйдет на волю и нам отомстит. Сотрет нас в порошок.

Нечаев, гений всяческой мистификации, конспирации, не мог не почувствовать, что солдаты его боятся. Он сам стал играть в брата царя. Через полгода солдаты носили его письма на волю. Златопольский, кажется, дал ему адрес Исполкома и явку к «Народной воле». И переписка Нечаева с народовольцами началась.

А когда Александр II был убит, солдатская организация все еще существовала. Нечаев все еще ею командовал. Но после убийства Судейкина в Шлиссельбург пришел Стародворский – главный физический убийца Судейкина. Стародворский во время следствия стал осведомителем и, придя в Шлиссельбург, выдал Нечаева. Нечаеву-то, конечно, ничего не было. Но его охрану судили, дали каторжные приговоры.

Современный историк почему-то умолчал об этом красочном эпизоде публичной пощечины шефу жандармов Потапову. Потапов умолчал об этой пощечине по очень простой причине – донести об этом царю значило самого себя поставить в положение, приводящее к отставке.

Потапов прослужил царю еще много лет, и о пощечине документы были опубликованы лишь в «Былом» – в 1907 году.

Итак, первая Вологда – это деревенское стяжательство и верная служба режиму.

К этой же, первой, Вологде относится и неяркая северная природа, а также знаменитые на весь мир сливочное масло и вологодские кружева.

Вторая Вологда – это Вологда историческая, город церковной старины, в то же время ярчайшая страница русской истории.

Нужно вернуться в доисторическое время, чтобы ощутить глубину дыхания тогдашней Вологды, силу ее могучих мышц, ее инфраструктуру – говоря современным языком, ее санные пути, ее реки, пристани и причалы, крепости, монастыри, военные склады, транзитные могучие транспортные артерии страны.

Россия Ивана Грозного – Север, Ермак. Россия Петра – Балтика. Россия Николая – Россия Юга, Черного моря.

Вологда была и местом героических сражений – война с поляками второго самозванца проходила именно здесь.

Вологда знала и военные предательства, горестные поражения и радостные победы. Иван Грозный хотел сделать Вологду столицей России вместо Москвы.

Москву Грозный не любил и боялся.

Грозный бывал в Вологде не один раз.

Софийский кафедральный собор, «Холодный собор», как его звали в нашей семье, был построен в честь царя, и Грозный был на освящении храма.

«Холодным» собор назывался потому, что это был единственный храм в Вологде, где не было отопления. Молиться в соборе можно было только летом. Поэтому рядом стоял другой собор – с печами, более теплый, где и молились.

И пасхальные, и рождественские службы проходили в «теплом» соборе, и только летом железные двери Софийского собора раскрывались, а с первым снегом запирались опять.

На Троицу, Духов день службы служили в Холодном соборе.

Высоченные колонны уносили вверх расписное небо, огромные трубы ангелов тревожили мое детское небо, звали к каким-то необычным земным свершениям.

Трубы ангелов закрывали все небо. На отсеках были фрески, знаменитые фрески Рублевской школы: князья и отцы церкви.

К алтарю ставился обыкновенный земной иконостас, упрятывая и загораживая святых и воителей на фресках и столбах.

Молиться нужно было не фрескам, а иконам, где тысячи свечей горели. И я ребенком нет-нет да и взглядывал вверх – на ногу ангела, из которой выпал камень.

Предание говорило, что во время молебствия на ногу Грозного упал кирпич, выпавший из ноги ангела в росписи церковного потолка. Кирпич раздробил большой палец ноги царя. Грозный, напуганный приметой, изменил решение – Вологда не стала столицей России.

Дело совсем не в том, что в Вологде не нашлось столь смелого хирурга, чтобы ампутировать раздробленный царский палец. Значение таких грозных примет в жизни любого государя, а тем более русского самодержца, не следует преуменьшать. Именно так, как поется в песне, и обстояло дело.

И тут суть не в том, был ли Грозный свободомыслящим или рабом религии своего века. Ни один политик не мог бы пройти мимо такого события. Кирпич, упавший на ногу царя во время молитвы, был ясным советом, и уклониться от него не мог бы ни один царь мира, начиная с Соломона, ни один политик.

Вологду царь оставил не по своему капризу, а затем, чтобы не пренебречь мнением народным. Ни отец, ни Грозный не были людьми суеверными. Просто они отдавали дань паблисити и не хотели искушать судьбу именно в этом земном смысле.

Я много раз бывал в э том храме, ведь мы жили рядом, в доме соборного причта. Я помню черную дыру в потолке. Пустоту – след, оставленный камнем в небе храма. Эта пустота на ноге ангела береглась много столетий.

Софийский собор – это храм холодный, и даже в официальной переписке и газетных корреспонденциях того времени назывался Холодным собором, с большой буквы, – будто это официальное название храма, возведенного в честь Софии.

В моем детском мозгу слово «Софийский» не отражалось, но держалось. Холодного собора было вполне достаточно не только для детских воспоминаний.

Это – угрюмый храм, хоть и красивый, – нет в нем душевной теплоты.

Желтые трубы ангелов так велики и так тревожны, что заполнили весь потолок, весь купол храма, и сразу дают знать, что близится Страшный Суд – в земной ли его либо в апокалиптической сущности, было для храма, для священников, и для причта, и для молящихся, и, вероятно, для Бога – все равно.

Тревога есть тревога, сигнал есть сигнал.

Рублевские или околорублевские фрески заполняли весь храм, а суть Рублевской школы в ее заземленности – в смешении неба и земли, ада и рая.

И действительно – не звуки этих ангельских желтых труб собирают, трепещат; сами земные люди – ближе к входу (он же и выход) – это уже послерублевские напевы. Рай и ад теснятся поближе к выходу – а сам храм – во власти ангельских труб, тревоги Страшного Суда.

Для того чтобы сгладить, смягчить иконопись Холодного собора, рядом стоит зимний, теплый, уютный собор – где бывать неинтересно, – защищенный от всех ветров и дождей, от всей метеорологии. Потолки здесь низкие, углы сглажены, иконы – робкие, свечи – полуприглушены. Никаких ангельских крыльев нет в этом соборном храме – он, с его архитектурой и иконами, держится на отступлении от неба, от слишком серьезной требовательности Холодного собора. Здесь все – современность, столько же древнего, как Государственный банк, присутственные места.

Вблизи нет зданий, которые могли сравниться с Холодным собором. Но на одной из улиц стоит деревянная церковь – ценность зодчества, равная Кижам, – церковь святого Варлаама Хутынского, покровителя Вологды, В честь этого святого назван и я, родившийся в 1907 году. Только я по своей воле превратил свое имя – Варлаам – в Варлама. По звуковым соображениям новое имя казалось мне более удачным, без лишней буквы «а».

Церковь эта – классический памятник русской архитектуры XVII века.

Наречение меня в честь покровителя Вологды тоже дань декоративности, склонность к паблисити, которая всегда жила в отце.

В Вологде жил десятки лет Батюшков, великий русский поэт, помешанный сифилитик. Много лет он прожил в психическом расстройстве и похоронен в Прилуцком монастыре – в семи верстах от Вологды.

Отец никогда не говорил мне о Батюшкове, хотя на доме Батюшкова, где располагалась Мариинская женская гимназия и где учились мои сестры, есть большая мемориальная доска, которую я мог читать не менее десяти раз в день, ибо этот дом – в двухстах метрах от нашего дома.

Из этого я заключаю, что отец не любил стихов, боялся их темной власти, далекой от разума, а главное – от здравого смысла. Поэтому только взрослым мне удалось повторить своими губами и гортанью: «О, память сердца, ты сильнее рассудка памяти печальной», но и понять его удивительную допушкинскую власть над словом – более свободную, чем у Пушкина, более необузданную, хранящую самые неожиданные открытия. Если бы не было Пушкина, русская поэзия в лице Батюшкова, Державина и Жуковского – стояла бы на своем месте. Лермонтова, возможно бы, не было. Но по сравнению с Батюшковым, Державиным, Жуковским Лермонтов не такая уж ощутительная потеря для русской поэзии.

Это – не хула Лермонтову, не хула Пушкинской плеяде! Но в допушкинских поэтах есть все, что дает место в мировой литературе русским именам.

К высотам Грозного Вологда никогда не возвращалась.

Петр I постройкой Петербурга взял совсем другой курс: «ногою твердой стать при море» – Балтийском. «Прошло сто лет, и юный град...» Прошло сто лет, и другой выдающийся русский император сумел «ногою твердой стать при море» – Черном.

Строительство Российской империи, начатое Петром, было закончено Николаем.

Николай I – фигура мало оцененная и историками, и писателями как судьями историков. Ошибался – это мы учим ежечасно, ежедневно, только потому, что воспитаны на Герцене и Льве Толстом. На декабристах, а не на стратегии Николая. То, что Николай был декабристом без декабризма – железные дороги, наступающая Россия, отмена крепостного права – как план чрезвычайно энергичного международного политика, – все это забыто.

В отличие от Наполеона Николай не ошибся в оценке роли парового винта.

Отношение Николая к Пушкину, даже к декабристам, в действительности было иным, чем заученные нами с детства эпизоды. Николай – фигура, которая еще ждет в истории своей реабилитации.

Современный историк (Пирумова) выражается о Николае так: «Чего-чего, а уж ума у этого императора хватало».

Строя Петербург, Петр не забывал о Севере. Дом Строгановых до революции сохранял некие торговые позиции и в Сольвычегодске, и в Вологде.

Петр ориентировал Вологду на Петербург – стало традицией поступление в высшие учебные заведения вологжан именно на берегах Балтийского моря. Москва для вологжан стала заштатной столицей, приютом неудачников и ворчунов, вроде Чаадаева, – история России решалась на Невском проспекте во всех ее неожиданностях – в бомбах, в выстрелах, в крестных ходах, в забастовках.

Только в двадцатые годы двадцатого столетия Вологда вернулась к своей допетровской позиции – в инфраструктуре более Ивана Грозного, чем Петра.

Вологда была провинцией и для Петербурга, и для Москвы, но для Петербурга она была городом менее заштатным, городом, где деятели будущей могли отдышаться после бурного бега. Это и была третья Вологда.

Третья Вологда обращена духовно, а зачастую и физически, материально – к Западу, к обеим столицам – Петербургу и Москве – и тому, что стоит за этими столицами, Европе, Миру с большой буквы.

Эту третью Вологду в ее живом, реальном виде составляли всегда ссыльные и по моральным, и по физическим причинам. Для этих ссыльных – сколько бы поколений ни жили они в городе – Вологда была лишь тюремным транзитом, ссыльным этапом их напряженной жизни.

Именно ссыльные вносили в климат Вологды категорию будущего времени, пусть утопическую, догматическую, но отвергающую туман неопределенности во имя зари надежд.

Это будущее России в Вологде было уже настоящим в философских спорах кружков, диспутах, лекциях.

Надежды эти всегда сбывались и сбывались немедленно – ссыльные бежали, их привозили из побегов, и все начиналось сначала.

Именно из Вологды Герман Лопатин увез Лаврова, чтобы тот успел принять участие на баррикадах Парижской коммуны – по железной дороге Вологда – Петербург. Лопатин в Вологде долго ждал поезда и чуть не сгубил дело.

Но поезда не стали ходить медленнее. Напротив, поезда стали ходить чаще, расстояние от столицы до Вологды все уменьшалось. Бежать становилось все легче и все заманчивей.

Тех ссыльных, кто не бежал, освобождали по заявлению. Вернуться в столицы было легко. Вековать в Вологде никто из ссыльных не хотел и не вековал.

Вот эта устремленность на Запад и создает третью Вологду – Вологду ссыльных – бывших, сущих и будущих. Такие семена никогда не остаются бесплодными.

Почва слишком богата, жирна, пропитана кровью – и в буквальном, и в переносном смысле.

Споры ссыльных между собой – это не споры о пальце Ивана Грозного – а о будущем России, о смысле жизни.

Временность ссылки не подменяет временности земного бытия, свободомыслие цветет в Вологде ярким цветом – свободомыслием Джефферсона, Франклина.

Доклад о современных, революционных движениях любой вологодский ссыльный может сделать вполне квалифицированно – на уровне самых последних философских, религиозных, экономических течений.

Политика здесь, как всегда, выступает в смысле рычага общей культуры. Вологда осведомлена и о Блоке, и о Бальмонте, о Хлебникове, не говоря уж о Горьком, или о таком кумире

русской провинции, как Некрасов. «Колокол» Герцена – а не только «Кто виноват» – идет нарасхват.

Естественно, что отец – шаман и сын шамана[2] – вернулся после двенадцати лет заграничной службы европейски образованным человеком – вернулся не к первой Вологде – оттуда он вышел родом, не ко второй – исторической, от имени которой он уже научен был говорить, а к третьей Вологде – Вологде освободительного движения. В эту третью Вологду отец и вошел со всеми своими знакомствами, интересами, связями и идеалами – по возвращении из Америки, в 1905 году, за два года до моего рождения. Уже замысел моего рождения продиктован другим человеком, чем тот священник, который уезжал в прошлом столетии на Алеутские острова.

Я не был экспериментом отца, я был ставкой, шашкой в его игре – в шахматы отец не умел играть, а то бы я применил другое сравнение, – отнюдь не азартной, а рассчитанной, продуманной, разумной, победоносной партии.

И не вина отца, что силы, с которыми он столкнулся, были слишком неожиданны, масштабы их нельзя было определить ни в каком политическом клубе.

Даже Достоевский, который много угадал, прошел мимо практического решения этого теоретического вопроса.

Отец мало обращался к Достоевскому, к художественной литературе вообще. Позитивист до мозга костей, он не верил никаким пророчествам. Напротив, пророчества оскорбляли его разум – отец не нуждался в пророчествах. Поэтому в будущем он ничего не угадал. . . Он только воспитал в себе вкусы, понятия, пытался по этим понятиям жить и учить как-то других.

У Вологды была еще одна важная сторона. Там создавалась как бы «обязательная школа», «техминимум революции», выражаясь языком тридцатых годов. Эта обязательная школа, может, была и побольше, чем техникум, – вроде гимназического диплома.

Вологда была легкой ссылкой, и в то же время обязательной, как бы почетной и зависящей от самого ссыльного.

В этой легкости – ссылка могла быть прервана в любой момент по заявлению ссыльного, да еще близость к столицам – ночь до Москвы, ночь до Питера, – создавалось для либеральных высших чиновников статистическое оправдание. Ведь в тюремных заведениях статистика всегда в почете.

Сколько сослали – столько-то. Борьба, значит, ведется. А куда же сослали? В Вологду. Цифры успокаивали верхи и радовали либералов.

Вологду не сравнивайте с Сибирью. Вологда – это Москва и Петербург. Только об этом не говорите при начальстве.

Вологодская ссылка была отпиской либеральных царских министров начала XX века. Потому-то в Вологде и не проходило дня без рефератов, диспутов, споров.

Конечно, как во всякой ссылке, в Вологде были свои драмы, свои вожди и пророки, свои шарлатаны.

Но я не пишу ни истории революции, ни истории своей семьи. Я пишу историю своей души – не более.

Но: публичность этой третьей Вологды, ее ориентация на глобальность, на современность создает особую страну в северном русском городе.

Эта третья Вологда не писала своей истории, как написали Нерчинск, Акатуй и – в более широком смысле – Сибирь.

Для русского освободительного движения Вологда – это своеобразный Барбизон для французской новой живописи.

Третья Вологда была вся в живой борьбе, глубоко дыша воздухом обеих столиц. Укрепляла свои силы мышцами традиций поисков смысла жизни, решения вечных вопросов.

Энтузиастов хватает в каждом русском поколении.

Во время моей юности я слушал лекцию Владимира Александровича Поссе[3] – тоже одного из праведников прошлого столетия. Сама лекция его так и называлась: «В чем смысл жизни?» В. А. Поссе был только одним из сотен, из тысяч других.

Все эти речи обращались именно к третьей Вологде. Традиции города в этом смысле были чрезвычайно плодотворны. И хотя меня не лекция Поссе заставила задуматься над смыслом жизни – Поссе немного опоздал, – все же я слушал его с большим мальчишеским вниманием и пиететом.

Поссе был седой краснощекий старик в вельветовой куртке, размахивающий маленькими короткими руками над затаившим дыхание залом женской гимназии.

Дорог для утверждения добра Поссе предлагал очень много, слишком много для такого юного догматика, каким был я.

Третья Вологда знала пути на любые вкусы. Третья Вологда организовывала народные читальни, библиотеки, кружки, кооперативы, мастерские, фабрики.

Каждый уезжающий ссыльный – это было традицией – жертвовал свою всегда огромную библиотеку в книжный фонд Городской публичной библиотеки – тоже общественного предприятия, тоже гордости вологжан.

### III

Резкой металлической дробью шелкал рукомойник, и где-то совсем близко за стеной на этот звук отзывались колокола. Чесучой шуршала одежда отца, вздыхала с чуть слышным скрипом тяжелая дверь в парадное, выпуская отца на улицу, звякал тяжелый крюк, возвращаясь в гнездо под рукой матери. Все стихало. Через какое-то время звуки возвращались в обратном порядке. Стучал откидываемый крюк, скрипела дверь, шуршала одежда. Колокола негромко отыгрывали какую-то поспешную, торопливую мелодию, металлом гремел рукомойник на кухне.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.